



Евгений Салиас де Турнемир

Ширь и мах (Миллион)

«Public Domain»

1885

Салиас де Турнемир Е. А.

Ширь и мах (Миллион) / Е. А. Салиас де Турнемир — «Public Domain», 1885

Впервые этот исторический роман был издан под названием «Миллион» в 1885 году.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	9
III	12
IV	14
V	16
VI	19
VII	22
VIII	24
IX	27
X	30
XI	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Евгений Андреевич Салиас

Ширь и мах (Миллион)

Исторический роман в 2-х частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Широко, гулко, размашисто, будто потоком – идет вельможная жизнь екатерининского царедворца.

Таврический дворец шумит, гудит, стучит.

У князя Потемкина прием.

Полдень... Под прямыми лучами майского солнца дворец ослепительно сверкает своей белизной. Весь двор заставлен десятками всяких экипажей и верховых коней. В чаще сада, на всех дорожках, мелькают яркоцветные платья и мундиры. Во всех залах и горницах огромных палат «великолепного князя Тавриды» плотная толпа кишит как обеспокоенный муравейник и снует, путается всякий люд, от сановника в регалиях до скорохода в позументах... А среди этой толпы кое-где мелькнет, отличаясь от других, статный кавалергард в серебристых латах, арап длинный и черномазый в пунцовом кафтане; киргизенок с кошачьей мордочкой, в пестром халате и с бубунчиками на ермолке; пленный нахлебник-турок в красной феске, шальварах и туфлях; карлы и карлицы в аршин ростом с зеленовато-злыми или страшно морщинистыми лицами. А между всеми один, сам себе хозяин, никому не раб и не лстец, – ходит, важно переваливаясь, генеральской походкой громадный белый сенбернар.^[1]

На парадной лестнице и в швейцарской стоят десятки камер-лакеев и фурыеров,^[2] гайдуки, берейторы,^[3] казачки-скороходы... Мимо них проходят, прибывая и уезжая, сановники и вельможи с ливрейными лакеями и гвардейские штаб-офицеры с денщиками, гонцы и курьеры из дворца.

И все это блесит, сияет, искрится точно алмазами.

Будто ярко-золотая волна морская бьется о стены Таврического дворца, то напирая с улиц под колоннаду подъезда, то вновь отливая обратно с двора...

Высокие щегольские кареты, новомодные берлины^[4] и коляски, старые громоздкие рыдваны,^[5] экипажи всех видов и колеров, голубые, палевые, фиолетовые... снуют у главного подъезда... Лакеи и гайдуки швыряются, подсаживая и высаживая господ, и лихо хлопают дверцами, с треском расшвыривают длинные, раздвижные в шесть ступеней одножки, по которым господа чинно шагают, качаясь как на качелях...

– Подавай! Пошел! – то и дело зычно раздается по двору.

И движутся разномастные цуги сытых глянцевиных коней, то как уголь черные, то молочно-белые, или ярко-золотистые с пепельными гривами и хвостами, или диковинно-пестрые, пегие на подбор, так что от масти их в глазах рябит. Цуги коней, будто большие змеи, выются по двору, ловко и лихо изворачиваясь в воротах, или у подъезда, или среди экипажей и людей. Искусник-форейтор^[6] из малорослых парней, а чаще шустрый двенадцатилетний мальчуган бойко ведет свою передовую выносную пару коней – подседельного и подручного.

– Поди! Гей! – озорно и визгливо вскрикивает он и все вертится в седле, оглядываясь на свои построения и на весь цуг, на дышловых, на толстого кучера с расчесанной бородачей, что расселся важно на бархатном чехле с золотыми гербами.

Всадники-гонцы, офицеры и солдаты, тут же скачут назад и вперед. Двое, справив поручение, садятся на лошадей, а на их место трое влетели во двор и, бросив поводья конюхам, входят на подъезд, сторняясь вежливо, чтобы пропустить вельможу, сенатора, адмирала, сающихся в поданную карету.

В саду, на лужайках, на площадках и в подстриженных по-модному аллеях, мелькают цветные кафтаны и дамские юбки, звенят веселые голоса, женский смех и французский говор... Здесь гуляют гости, приехавшие не по делу, не с докладом, не с просьбой, а «по обычности» – одни, как хорошие знакомые, другие, чтобы *faire leur cour*¹ временщику и раздавателю милостей.

Близ легкого пестро выкрашенного мостика, среди площадки, между мраморными амурами на пьедесталах, собралась большая кучка пожилых сановников, зрелых дам и молодежи. Общество сгруппировалось вокруг красавицы баронессы Фон дер Тален, новой львицы при дворе и в городе... Маленькая и полная немочка, уроженка Митавы,^{17} двадцати лет, от которой пышет красотой, юностью и здоровьем, одна из всех без пудры, румян и сурьмы. Блестящий цвет лица и прелестные голубые глаза белокурой баронессы не нуждаются в притираниях. «*La Venus de Matau*»² – ее прозвище в Питере, данное государыней в минуту раздраженья. Муж ее, уже пожилой генерал, давно в отъезде, в армии, а она ухаживает за князем, и в столице носятся слухи, что Венера Митавская – временный предмет светлейшего.

Недаром и племянницы князя с некоторых пор постоянно заискивают у нее. И теперь здесь сошлись около нее и подшучивают над ней любезно три из племянниц князя: Самойлова,^{8} Скавронская^{9} и Браницкая.^{10}

Пожилый генерал-аншеф,^{11} известный болтун, ходячая газета столицы и сплетник, но добродушный и подчас остроумный, рассказал что-то, что-то будто из истории Греции, случай из афинской жизни, с Алкивиадом,^{12} но с понятными всем, прозрачными намеками на князя и баронессу. Всем им известно, кого давно зовут «Невским Алкивиадом».

– *Vous calomniez l'histoire!*³ – восклицает Самойлов, родной племянник князя Таврического.

– *Pour plaire a la baronne,*⁴ – отзывается генерал.

– Нет! Я бы на месте вашей афинянки поступила совсем не так... – звучит серебряный голосок красавицы баронессы. – *Cette coquinerie d'Alcibiade*⁵ не прошла бы ему даром... Она имела мало *caractere*.⁶

– В таких приключениях *la coquinerie est la coquetterie des hommes*...⁷ – заявляет молодой премьер-майор,^{13} сердцеед и герой Кинбурна.^{14}

– Когда женщина должна себя отстоять, – горячо продолжает баронесса, – то она перерождается: добрая – делается злой, глупая – умной и трусливая, как овечка, – тигрицей...

Завязывается спор. Почти все дамы на стороне баронессы...

– Полноте... Все вы правы! – решает графиня Браницкая. – Только побывав в положении вашей афинянки, можешь знать: что и как сделала бы...

¹ Угодать (фр.).

² «Венера Митавская» (фр.).

³ Вы клевете на историю! (фр.).

⁴ Чтобы понравиться баронессе (фр.).

⁵ Это плутовство Алкивиада (фр.).

⁶ характера (фр.).

⁷ плутовство – кокетство мужчин (фр.).

Беседа снова переходит незаметно на непостоянство князя.

– *Domptez le lion...*⁸ – говорил кто-то, смеясь, баронессе.

– О, это не лев... – весело восклицает красавица. – Князь Григорий Александрович! Трудно найти в мире другого в *pendant*⁹ для сравнения... Он и медведь, и ласточка вместе!.. Знаете, что он?! *J'ai trouve!* Он – апокалипсический зверь... *c'est la bete de Saint-Luc*.¹⁰ Это – крылатый вол! Он лежит лениво и покорно у ног женщины, как и подобает *a la bete du bon Dieu*...¹¹ И вдруг в мгновение, *quand on s'attend le moins*,¹² взмахнет крыльями и умчится ласточкой.

– В синие небеса или к молдаванкам?..

– Да... к ногам другой женщины...

– Где докажет тотчас неверность пословицы, что одна ласточка весны не делает! – сострил генерал.

– Берегитесь, баронесса, – вымолвила Браницкая, – я передам дяде ваше сравнение. Оно верно, но не лестно... Вол?..

– Крылатый, графиня... *je tiens a ce detail*.¹³

– Ага! Бойтесь... что дядя выйдет из слепого повиновения, – несколько резко заметила Скавронская.

– Слепое повиновение есть исполнение всякого слова, всякой прихоти, – заметила сухо баронесса. – Этого нет.

– А вы бы желали этого?

– Конечно. Сколько бы я сделала хорошего, если бы каждое мое слово исполнялось князем. *Je suis franche*.¹⁴ Конечно, хотела бы!

– *Ce que femme veut – Dieu le veut*.¹⁵

– Да... но это старо и не совсем верно, – вмешивается пожилая княгиня.

– Правда! Надо бы прибавлять, – смеется баронесса, – *quand la Sainte Vierge ne s'oppose pas*.¹⁶

– О! О! – восклицают несколько голосов.

– *Voltairienne*!¹⁷ – говорил генерал.

– *Plutot... Vaurierme...*¹⁸ – прибавляет княгиня, трогая молоденькую женщину веером за подбородок. – Ох, мужу все отпишу... Он там пашей в плен берет, а жена здесь сама пленяется...

– Да... И напишите, княгиня. На что похоже. Барон там «курирует» опасность в битвах, а жена здесь бласфемирует.¹⁹

– Напишите! Напишите! Напишите!.. – раздается хор дам.

– Ох уж вы, молодежь... Грешите... – вздыхает старик сенатор. – Сказывается... все под Богом ходим!

– Да-с, ваше сиятельство... Истинно! А вот при Анне Ивановне, помните, не так сказывали...

⁸ Укротите льва (фр.).

⁹ пару (фр.).

¹⁰ Я нашла... это – зверь Сэнт-Люка (фр.).

¹¹ божьей коровке (фр.).

¹² когда ждешь меньше всего (фр.).

¹³ я держусь этой детали (фр.).

¹⁴ Я – чистосердечна (фр.).

¹⁵ Чего хочет женщина, хочет и Бог (фр.).

¹⁶ когда Святая Дева не воспротивится (фр.).

¹⁷ Вольтерьянка! (фр.).

¹⁸ Скорее... бездельница (фр.).

¹⁹ От фр. *blasphemer* – богохульствовать, кощунствовать.

– Как же? Как?

– Говорилось пошепту: «Все под Бироном ходим!»

И снова гулкий, звонкий и беззаботно звенящий смех раздается далеко кругом, будто рассыпается дробью по дорожкам среди подстриженных аллей.

II

В большой зале дворца тихо. Глухой, задавленный ропот едва журчит, прерывая эту тишину, соблюдаемую из высокого почтения к месту и лицу. Народу тут всякого много, от сильных мира до самых слабых.

Великая награда привела сюда одного – чтобы отблагодарить, и великая обида привела сюда другого – просить заступничества. Этот получил вчера тысячу душ во вновь присоединенной Белой России, этот – богатые уголья, луга и леса из новых пустопорожных земель в Новой России, этот – серебряный сервиз в несколько сот рублей... Этот – крест, чин, придворное звание... А эти еще не получили, но желают получить и приехали ходатайствовать... А этот потерял все имущество от несправедливой ябеды, этого разорила тяжба с соседом, родственником Зубовых, этот просит винный или соляной откуп, этот – местечка ради куска хлеба.

Во все века, у всех народов было, есть и будет то, что в этой зале теперь... Там, за высокими дубовыми дверьми – кабинет человека, который сам когда-то – простым офицером, мелким дворянином – мечтал о лишнем галуне, о лишнем рубле, а теперь для него все на свете... этот дворец, даже вся столица, даже иные пределы и иные враги этой империи – трын-трава.

Мир и люди ему – муравьиная куча... Наступит он по прихоти пятой на эту кучу – и сколько несчастных сделает, сколько горя, сколько слез. А захочет миловать – сколько счастливых заплачут от радости и восторга и заблагодарят Бога за князя Таврического.

Что же он? Посланник неба? Олицетворенная духовная мощь? Гений? Нет, он – чадо случая, сын фортуны. Его сила в слабости людской.

Он владыка мира сего, раб своих похотей.

Но где нужна тщетная сила желаний и воли сотни людей, он мизинцем двинет – и все творится по его мановению. И не в одном доме или одном городе, а на пространстве трети земного шара.

– Князь может много! – шепчет тощий, но важный сановник молодому франту, а около них дворянин из-под города Карачева, разоренный ябедой, смущенно мнет шапку в руках и робко, тайком прислушивается к их речи и вздыхает...

– Почему же так, ваше сиятельство?

– Царица всегда сделает по просьбе князя. А князь на просьбу царицы, бывает, отвечает: «Уволь, матушка, не могу. Приказ твой исполню, а коли просишь, не пеняй, не могу... Противно совести, или слову данному, или родственным чувствам!» Вот тут и аминь, государь мой.

И дворянин из-под Карачева отчаяннее мнет шапку, озираясь на сверкающие кругом мундиры, и все вздыхает...

– Воеводство, любезный приятель, токмо ему принесло пользу. Ему нужен был говор и шум на всю Европу, – тихо говорит генерал-аншеф с Георгием на шее другому сановнику, адмиралу в белом мундире с зелеными отворотами. – А государственной надобности – умирать буду, скажу – не было и ныне нету. Что нам Таврида? Подобало создать между нами и оттоманами рубеж, независимое ханство... оплот... ограду... Да. А не брать себе... А он, поди, уже возмечтал и Царьград, и Элладу привоевать. А там уже недалече... и Иерусалим прихватить.

– Да, – смеется адмирал. – И его бы туда наместником спровадить.

Собеседники осторожно и сдержанно смеются.

Время идет, час за часом, скоро вечерни...

Тихий говор толпы, ожидающей приема, все гудит глухо под сводами зала в два счета, будто рокот дальнего водопада, сдержанный горами и ущельями.

Курьеры проходят в кабинет без доклада и выходят вновь тотчас же...

Адъютанты вызывают ожидающих в очереди по фамилии или вежливо и смиренно, или важно и гордо, или с таким видом провожают в кабинет иного просителя, как если б он был блоха, попавшаяся им в руки...

Уже много всякого народу побывало за большими дубовыми дверьми и на мгновенье, и на целых четверть часа, и, появившись оттуда то с сияющим, то с мрачным лицом – прошли толпу ждущих очереди и разъехались по городу.

Много сановников еще ждут, а несколько сереньких фигур в дворянских мундирах и много простых офицериков были уже приняты светлейшим. Еще несколько генералов двигаются от одного окна к другому, ни с кем уже не разговаривая и сопя, пыхтя, видимо, злобствуют на публичный афронт. Жди и пропускай вперед всякую сволоку. Недаром сам из смоленских «потемок».

Снова вышел адъютант и позвал господина Саблукова.

Дворянин, давно смявший свою шапку совсем в лепешку от волнения, затрепетал, зашвырялся, оглядывается кругом и будто не понимает, чего от него требуют.

– Господин Саблуков! – снова раздается громче.

Все оглядываются и переглядываются, будто говоря незнакомым: «Не ты ли?»

– Господин Саблуков?! – в третий раз возглашает адъютант, озирая толпу.

– Я-с... – раздалось чуть слышно, будто не из груди дворянина, а будто откуда-то изда-
лече.

Неровными шагами двинулся господин Саблуков к дубовым дверям и исчез в кабинете.

В день Страшного суда Господня, при трубном гласе архангелов, созывающих мертвых восстать из гробов и предстать пред лицом Божиим, – господин Саблуков менее оробеет... Его жизнь вся на ладони, чиста, ни соринки на ней. А праведный небесный суд такой совести не страшен! А здесь ведь иной, земной. А ведь сейчас здесь вот, в кабинете царедворца, решится участь его личная, его жены, семерых детей, восьмидесятилетней матери, родственников, всех чад и домочадцев, даже его нахлебников. Всем на улицу без куска хлеба... Да это куда ни шло! А честь дворянская поругана будет, закон государский осмеян, правда людская поправа пятой ябедника.

И смутно в голове, бурно на сердце, темно в глазах и будто пьяно в ногах серенького дворянина, идущего вынимать свой жребий из рук фортуны, идущего класть свою голову не на плаху под топор, а хуже, обиднее... Класть голову и все головы семьи под случай, под прихоть...

– Саблуков! Преглупое прозвание! – заметил один сановник по фамилии Хантемиров.

– Стариннейшее дворянское! государь мой, – отзывается кто-то.

Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать... «Вона как...» – замечают многие мысленно. Проходит полчаса...

– Скажи на милость?.. Важное какое дело! – иронически замечает шепотом генерал Хантемиров.

Выходит наконец из дверей и бежит господин Саблуков... бежит рысью по залу куда глаза глядят, а куда – ему неизвестно. Лицо пунцовое, потное, мокрое... Слезы ручьем льют из глаз, челюсти судорога треплет, а зубы шелкают. А в руках блин-шапка, и он на бегу утирается ею, забыв про носовой платок... По счастью, попал он в двери и на подъезд, а авось до дома доберется.

Светлейший все расспросил, по ниточке дело его разобрал, пытал как в застенке и объявил весело:

– Небось, голубчик, все суды вывернем наизнанку. Твое дело правое! Правда при тебе и останется. Мое тебе слово.

А вслед за счастливым дворянином вышел важно курьер с письмом к английскому посланнику, где такая загвоздка Альбиону прописана, что через месяца два-три вся Европа

всполошится, даже французские Мараты и Дантоны подождут людей резать и сойдутся на совет.

За курьером вышел адъютант и велел кликнуть к светлейшему капитана Немцевича... Прибежал через минуту капитан с животиком, на коротеньких ножках, кругленький, розовенький, кровь с молоком – просто булка. Пробежал он зал и скрылся...

Тотчас и назад выкатился он из кабинета и весело озирается, будто спросить что хочет. Подошел он к ближайшему, еще не виданному им в столице генералу и, стало быть, приезжему вероятно чрез Москву, и вежливо кланяется.

– Виноват, ваше превосходительство. Не изволите ли знать... Светлейшему окажите послугу!.. Где найти самый перворазборный рагат-лукум. Сладость такая малоазийская.

«Тьфу: глупость какая! – думает генерал, пытит и головой трясет. Он случайно знает, где найти, ибо едал и сам этот рагат-лукум, да неприлично совсем об этом тут речь вести. Не за этим он приехал и ждет. – Черт вас подери», – думает он и прибавляет:

– Сожалею, не знаю.

– Перворазборный, удивительного качества, найдете у купца Грегорианова в Зарядье, – отзывается самодовольно молоденький сержант.

И видно по глазам масляным, что он его сосал еще недавно, сидя у матушки своей и воспитываясь на вареньях и медах.

– Село Зарядье? Какой губернии и уезда? – спрашивает обрадованный капитан.

– Никак нет-с. Зарядье в Москве, в городе.

– А-а? В самом городе Москве! – восклицает Немцевич.

– Да-с, в Москве, но собственно в городе.

Не сразу питерский капитан понял москвича-сержанта... И подивился наконец, что в городе Москве есть еще свой город, не в пример прочим городам российским.

– В городе близ Ильинки! – пояснил сержант.

Капитан юркнул опять в кабинет князя и, появившись тотчас обратно, немного менее веселый, стал расспрашивать сержанта: где, что и как... в мельчайших подробностях.

Его светлость отрядил его, капитана, тотчас, не медля нимало, гонцом в Москву привезти пуд сего лукума-рагата. Капитан бодрится, а видно, ему не очень сладко... Сейчас он к приятелю на именинный пирог собирался, а тут собирайся вдруг тысячу с лишком верст отмахать, чтобы доставить малоазийскую сладость.

Пока дело шло об рагат-лукуме, приехал чужеземец в странном наряде, но с орденом и оружием.

Это был грек Ламбро-Качони в своем национальном платье. Он прошел без доклада, стуча бесцеремонно по паркету... Адъютанты князя вились около него, как мухи около меда... Это любимец их барина.

Ламбро-Качони был самый дорогой посетитель для князя, ибо у них было одно общее, дорогое им, трудное предприятие, которое, однако, шло на лад... Дело немаленькое!.. Поднять всех греков, и древнюю Элладу, и весь Архипелаг... весь христианский Восток. Князь был душою дела, а Ламбро – правой рукой.

Но совещались они недолго. Грек только передал последние вести из Эпира и из Крита.

Принял затем светлейший еще с десятков лиц после этого чужеземного вельможи. Но вдруг в зале храбро появился молоденький камер-юнкер, и о нем тотчас доложили... тотчас пропустили...

Адъютант князя появился тотчас в дверях и громко объявил всем ожидавшим еще очереди, что приема больше не будет. Светлейший вызван к государыне и пошел одеваться, чтобы ехать в Зимний дворец.

– Это со мной в седьмой раз! – раздражительно проговорил один статский советник незнакомому соседу.

III

Высокий, пожилой широкоплечий богатырь, в ярком мундире, сплошь залитом шитьем, с плотной грудью, покрытой рядами звезд и крестов русских и чужеземных, двинулся тихо и лениво из кабинета на парадную лестницу... Походка его, с перевалкой, простая, не сановитая и деланная, а естественная и даже отчасти по природе неуклюжая – производила особое впечатление... «Весь залитой золотом, да орденами и регалиями, в камнях самоцветных и алмазах – и так шагает по-медвежь?» Чудится, что добродушный и добросердечный вельможа. С важными и высокостоящими – он и бывает груб, высокомерен и жесток – за то, что они мнят себя ему равными. Но маленького человека он пальцем не тронет, ни с умыслом, ни нечаянно, а будет с ним «свой брат», русская душа нараспашку. Если когда и обругает кого самыми на подбор скверными и погаными словами, так это именно, чтобы милость свою и доброхотство высказать прямее, сердечнее и понятнее для истого россиянина. Обруганный так и засияет от счастья, когда светлейший и его, и всех родственников переберет.

«Великолепный князь Тавриды», лениво и тяжело переступая с ноги на ногу, медленно прошел через весь дворец свой, меж двух рядов своих придворных, живой, блестящей изгородью протянувшихся от зала до подъезда. Подсаженный, почти внесенный на руках в поданную коляску, он двинулся из ворот в поле, за которым вдали, после огородов и пустырей, виднелась рогатка городская.

Будто большое, плотное, яркое облако, сияющее и ослепляющее глаз переливами всех радужных цветов, выползло из ворот и поплыло из Таврического дворца в Петербург. Это свита князя... которая конвоирует его всегда по городу... Всадники в разноцветных мундирах; латники, гусары, казаки, черкесы, гайдуки – бьются кругом. А впереди экипажа и коней, саженях в пятидесяти, бежит рысью по пыльной дороге десяток скороходов, в красных кафтанах. Они несутся вереницей попарно за длинным и худым арапом, громадного роста и с двухсаженной золотой булавой в правой руке. Будто сам сказочный Черномор открывает шествие почти сказочного вельможи.

Но он сам уныло, тоскливо озирается кругом...

«Подступает, – думается ему. – Идет!»

Да, он прав, действительно «подступает» и впрямь. Вчера еще было на молебне во дворце и вечером на торжестве, которыми поминали его подвиги, прошлые победы и благодарили Господа Бога за... плоды его разума, его воли, его усилий душевных, его деятельности... И все и вся преклонялось, поздравляло, льстило, млея перед ним.

«Не правда ли это, – думал и думает он. – Нужно ли? Дело ли это или безделье? Велико это или мало? Муравей... козявка... Ишь ведь мишурой-то забавляемся! – оглаживает он конвой. – Австралийские попугаи-какаду тоже любят это! – усмехается он, тоскливо и презрительно оглядывая свою грудь, покрытую регалиями. – Им в клетке всегда лоскут притыкают, чтобы пели и говорили забористее».

Он вздохнул, встряхнул головой, будто отгоняя эти мысли.

– Эх, подступает... – полубормочет он под грохот экипажа. – И затем. Что тут разбирать по ниточке. Каждая ниточка – если и распутаешь всю сию паутину как философ, то каждая все-таки, сама по себе, будет тайна великая мироздания, загадка премудрости Всеблагого Творца... И чувствуешь на душе, что сказывается там так: не гадай, не время теперь, обожди. Теперь живи... Кончишь земной путь – тогда все узнаешь как по писаному. А сия книга бытия твоего, и всего, и всех при жизни – катавасия и скоморошество, чего спешить, вперед заглядываешь, обожди, все узнаешь! И узнаешь-то, с тем чтобы уж не пользоваться. И себе, и другим без пользы. Оттуда не придешь рассказывать: так и так, мол, братцы...

– Тьфу! Будет! Отвяжись! – выговорил князь уже громко, будто обращаясь к собеседнику невидимому, который пристал и всякую дрянь выкладывает ему, тянет грустную да безотрадную канитель.

– Подтяни вожжи!.. Прибавь ходу! Попадья! – крикнул он кучеру нетерпеливо.

Все рванулось и двинулось шибче; застучали колеса, заскакали всадники, зазвенела амуниция, и будто пуще засверкало все на солнце...

«Пожалуй, обидел ведь кучера-то своего Антона, и зря... Чем он попадья? Первый кучер в столице, – думается ему. – Надо поправить. Зачем обижать зря...»

– Эй ты, собачий сын! Что, наш Юпитер все хромает?

– Лучше, Григорий Лександрыч, – отвечает не оглядываясь бородастый кучер. – Я их обоих – и Рыжика, и Евпитера...

– Не Евпитер, чучело гороховое, Юпитер! Ишь ведь вы, скоты, хуже татар и турок. Ей-Богу, вы, псы этикие, иноземных слов совсем заучить и сказывать не можете.

– А на что они нам? У нас свои есть! – отзывается Антон.

Князь Таврический пристально уперся пронизательным, умным взглядом своего глаза в широкую спину Антона и думает:

«Да. Вот. Рассудил. Истинно! Этак бы и нам все государские дела вершить. Памятовать сие изречение Антона. У нас все свое есть. А мы все чужое понахватили. Чужое на стол мечи, а свое ногами топчи! Нет такой пословицы – а должна бы таковая быть!»

– Антон?! – крикнул князь.

– Чего изволишь, батюшка?

– Ты умница, Антон!

– Рад стараться, Григорий Лександрыч.

– Ты умнее меня! Умнее всех сенаторов и советников. Мы все олухи и пустобрехи.

Трясет Антон головой и усмехается, оглядывая коней. Не в первый раз таковая беседа у него с барином, с первым вельможей российским, «ахтительным» князем Таврическим, которого он, однако, не смеет назвать «вашей светлостью». Раз навсегда крепко заказано это всей дворне и всем холопам князя:

«Я светлейший, да фельдмаршал, да князь, да тары, да бары, да трынцы-волынцы, да всякия такие турусы на колесах... для вельмож, для дворянства, пуще всего для пролазов сановитых. А для вас я барин, Потемкин, Григорий Александрович. Смоленской губернии дворянин».

И холопы не дивятся, давно привыкли к доброму барину, сердечному и золотому, но чудодею Григорью Лександрычу.

IV

На Дунае, в декабре 1790 года, завершилась взятием Измаила блестящая кампания.

Это была целая серия подвигов русской армии, в рядах которой уже гремели имена героев: Суворова и Репнина. Молодые Кутузов и Платов заставляли уже о себе говорить. С новым годом наступило временное затишье в военных действиях. В феврале месяце князь Таврический приехал в Петербург на побывку. Он думал пробыть недолго, быстро повершить все дела и уехать, но оказалось, что времена наступили для него иные... При дворе был новый флигель-адъютант, двадцатичетырехлетний Платон Зубов,^[15] приобретающий все большее влияние на государыню и начинавший вмешиваться в дела. Он уже не скрывал своей неприязни к князю Таврическому, боролся с ним и подкапывался под него.

– Пора ему на покой, чтобы и России вздохнуть дать, – говорил он со слов других, более умных. – Надорвал отечество!

Потемкин приехал удалить нового любимца, как уже не раз делывал это прежде, но теперь все более убеждался в его возрастающем значении и силе при дворе. Вдобавок, вокруг Зубова группировались враги Потемкина – а их было немало. И какие враги! В числе их был вновь пожалованный граф Рымникский, герой Кинбурга и Измаила. Суворов не любил Потемкина. Князь должен был спешить обратно в армию, но все медлил и говорил, что не уедет, пока не выздоровеет и не вырвет у себя больной зуб.

Но «Зуб» смеялся на эту угрозу.

И в самом главном деле, которым жил теперь Потемкин, – Зубов боролся с ним. Князь жил мыслью о продолжении войны с Турцией и умолял императрицу не вступать в переговоры с вновь вступившим двадцативосьмилетним султаном Селимом.^[16] Он обещал в один год полный разгром Оттоманской империи... Зубов противодействовал ему и завел свои тайные сношения с английским и с прусским кабинетами и с Диваном.^[17] Он наконец добился своей цели.

Государыня, тайно от Потемкина, дала предписание Репнину,^[18] замещавшему в армии главнокомандующего, не отстраняться, а идти навстречу могущим воспоследовать мирным предложениям со стороны нового султана Селима. И дело уже шло на мир, а Потемкин этого не ведал. Зубов ли становился всемогущ теперь? Или государыня становилась менее предприимчива? Или, наконец, «глас народа» влиял на судьбы России...

Недолго пробыл князь Таврический у государыни, был скучен. Узнал он чрез чтение полученных депеш с курьером из Берлина о многих великих событиях европейских, узнал о новых «пакостях» австрийских относительно его душевного и громадного дела там, за Тавридой, на берегах древнего Босфора, близ Царьграда, родного искони России. Узнал он о бегстве короля Лудовика Французского^[19] из своей бунтующей столицы и его позорного в дороге захвата, возвращенья под стражей и заключения.

«Вон оно что бывает! Потомок Генриха IV,^[20] Лудовика XIV – в тюрьме! Заключен на хлеб и на воду, по указу портных, коновалов и ветошников!»

И то, что подступало к Григорию Потемкину еще вчера, на молебне в соборе, при всем народе и на пальбе из орудий, которыми торжествовали деяния светлейшего князя Таврического... то уже подступило теперь еще неотвязнее... Хворость эта его... своя, особенная, непонятная...

На этот раз князь приехал к государыне уже заранее несколько расстроенный, и все раздражало его, всякий пустяк волновал, и он все более горячился.

Беседа зашла поневоле о важнейшем вопросе дня. Мир с Турцией. Государыня желала скорейшего окончания кампании, которая уже обошлась государству в шестьдесят миллионов.

Вся Россия, все сословия были на стороне царицы, все тяготились этой войной. Успехи беспримерные и блистательные русского оружия позволяли заключить почетный и выгодный мир. Турция была разорена, надломлена. Султан только и мечтал начать снова прерванные переговоры и готов был согласиться хотя бы и на тяжкие, но лишь бы мало-мальски возможные, не позорные условия. Европа вся, а прежде всех союзник России – Австрия и недавно вступивший на престол император Леопольд^[21] – почти требовали, чтобы русская императрица заключила мирный трактат с султаном, грозя в противном случае, что иноземная лига против нее и за султана пришлет корабли с десантом под самый Петербург. Весь мир желал мира, но война продолжалась. Кто же не хотел и слышать о мире? Князь Таврический.

Он мечтал изгнать совсем магометан из Европы; восстановить Византийскую империю с Царьградом. Или, по крайней мере, создать союз греческих республик, по примеру новорожденного государства, появившегося в Новом Свете, после восстания и отпадения своего от метрополии.

Современники князя Таврического упрекали его в чрезмерном, безумном честолюбии. Пропади все, разорися Россия, лишь бы имя его, как разрушителя Оттоманской империи и истребителя мусульман, прогремело по всему крещеному миру.

– Это не простая война, – восклицал князь, – а новый, российский крестовый поход, борьба Креста и Луны, Христа и Магомета. И чего не сделали, не довершили прежде крестоносцы, то должна совершить Россия с Великой Екатериной. Я вот здесь, в груди моей, ношу уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело – взять и перешвырнуть Луну через Босфор,^[22] с одного берега на другой – в Азию!

На этот раз князь волновался, но ничего не отвечал на попытки царицы завести речь о Турции и войне. Он жаловался на нездоровье и отмолчался.

V

Таврический дворец молчит, притаился, не дышит, будто спит мертвым сном среди дня. Уж не выехал ли светлейший князь из столицы опять в Молдавию, на театр военных действий, продолжать крестовый поход.

Нет, князь Таврический в своем дворце, и дворец, как и вчера, полон его придворных, дворовых и служащих. Но все притаилось и молчит.

Двор заперт и пуст. Подъезжающие в золоченых экипажах сановники возвращаются вспять от притворенных ворот.

– Его светлость не принимают.

В швейцарской с десятков гайдуков и лакеев сидят по лавкам и мирно беседуют.

В большой зале, где толпились всякий день просители и ухаживатели, – пусто и изредка звучат только, гулко отдаваясь вверх у карнизов, одинокие шаги какого-нибудь адъютанта или лакея, которым дозволено входить во внутренние апартаменты.

Но за дубовыми дверьми, в глубине залы, которые так знакомы всему Петрограду да памятливы хорошо и тем многим провинциалам из дебрей и городов российских, которых приводила сюда своя забота, своя беда... за этими дверьми, в кабинете князя – тоже пусто. Вещи, книги, карты географические, дела, кучи бумаг для подписания – рядом лежат на письменном столе и на стульях. Тут же, на отдельном осьмиугольном круглом турецком столике-табурете с инкрустацией из золота и перламутра – лежат аккуратно наложенные кучками пакеты, нераспечатанные письма, депеши и мемории – первейшей важности и, пожалуй, даже мирового значения. Вот письмо с почерком князя Репнина. А он тоже в пределах вражеских на Дунае замечает князя... Вот письмо посла английского... Ответ на «загвоздку» князя, где дело идет о таком вопросе, от которого пахнет войной России с Альбионом,^[23] со всей Европой соединенной.

Но пылкий нравом, твердый волей и машистый духом и поэтому легкий на подъем среди кипучей деятельности, разгорающейся все больше от помех и препятствий... русский богатырь, которому политическое море – всегда было по колено, а дипломатия – кукольная комедия, – богатырь этот и духом, и телом уже три дня не выходил в кабинет свой и никого из подчиненных с докладами не принял.

Князя Таврического нет в этом дворце его имени и имени его подвигов.

В горнице, обитой сероватым ситцем, с двумя окнами в пустынный сад, на большой софе лежит, протянувшись, плотный человек в атласном фиолетовом халате, надетом прямо поверх рубашки с расстегнутым на толстой шее воротом. Маленький золотой крестик с двумя образками и ладанкой на шелковом шнуре выскочили и лежат поверх отворотов халата... Босые ноги протянулись по софе и свисли к полу вниз, одна туфля лежит рядом с ним, другая свалилась на пол.

Три дня уже лежит здесь Григорий Александрович Потемкин... неумытый, нечесанный и только вздыхает, ворчит что-то себе под нос... Спать он уходил два раза на свою кровать, а одну белую яркую ночь пролежал в раздумье на софе до шести часов утра, так и не двинулся, проспав до полудня.

Обед и завтрак ему приносят сюда. Сюда же навевались и его племянницы. День целый просидела с ним графиня Браницкая. Здесь же он принял с десятков близких людей «благоприятелей», два раза сыграл в шахматы с любимцем и родным племянником Самойловым,^[24] но здесь же принял и прусского резидента, который с фридриховскою настойчивостью требовал свиданья с князем. Немного вышло толку для резидента от приема. Видел он и изучил наизусть образки и ладанки, висевшие на груди князя, но ответа прямого насчет сути последнего пред-

писания, данного князем главнокомандующему Репнину, там на Дунае... ответа резидент не получил!

Князь только мычал пустые фразы, а с ним любезничала за дядю красивая его племянница Браницкая, как бы стараясь сгладить дурное впечатление.

– Mon souverain,²⁰ – говорил и повторял резидент внушительно и по-французски, – тревожится и сомневается ввиду истинно загадочного образа действий князя Репнина, вашего заместителя в армии.

– Ну, и Христос с вами. И сомневайтесь. И ты, и твой суверен! – промычал наконец князь по-русски. А на переспрос резидента проговорил: – Кранк! Ферштейн зи! Кранк. Ну, чего же? Аллес мне теперь ганц хоть трава не расти.²¹

И князь прибавил по-турецки ругательство.

Резидент, однако, хотя недоумевая, все-таки поднялся и уехал, внутренне возмущенный, обиженный и злобный.

– Варвары! – бормотал он по дороге. – Неодетый... А тут сидит молодая женщина, родственница... Племянница.

Болезнь князя изредка навещала его и была не болезнь, а состояние духа, не объяснимое ни ему самому, ни близким людям. Он сам не знал, что у него.

– Подступает! Идет! – говорил он угрюмо и боязливо, но еще на ногах.

– Пришло! Захватило! – говорил он тоскливо, лежа на диване.

И это подступавшее и хватавшее его за сердце и за голову была непреодолимая, глубокая, страстная полутоска, полужлоба.

Враги находили всегда причину простую и естественную – этого странного расположения духа и этих диких дней, проводимых в халате, наголо, в углу уборной. По их словам:

– Князь злится на Зубова.

– Его дурно приняла царица.

– Он завидует новому графу, то есть Суворову, которого наконец на днях произведут в фельдмаршалы.

– Он ломается. Ничего у него нет и не было. С жиру бесится.

Хворость эту сам князь не понимал, но это был очередной недуг, сильный, давнишний – с юношества... И недуг чисто душевный, а не телесный. Иногда, но редко, примешивалось к тяжкому состоянию души физическое недомогание или слабость. Хворость эта приходила как лихорадка, время от времени, и держала его иногда три-четыре дня, иногда более недели. Припадок бывал слабый и очень сильный... Как потрафится.

На этот раз князь чувствовал, что хворает сравнительно легче... Меньше томит его и меньше за душу тянет. Все окружающее меньше постыло, сам он себе менее противен и гадок, чем иной раз.

Тем не менее князь послал за своим духовником и приятелем, бедным священником в Коломне.

Отец Лаврентий был любимец князя, именно за то, что – при их давнишней дружбе – священник, имея возможность пойти в гору, отказывался ото всего, что князь ему предлагал. Даже свой приход на другой, более богатый, не хотел он переменить...

– Все тщета... Умрешь – все останется.

– А детям? – говорил князь.

– Да ведь и они не бессмертные! – отвечал священник.

²⁰ Мой государь (фр.).

²¹ Болен! Понимаете! Болен... Все... совершенно... (нем.).

Князь видел в душе отца Лаврентия то же чувство презрения ко всем благам земным, которое было и у него... Но у него оно только являлось сильно во время его странной хворости, а священник был всегда таков и на деле доказывал это.

Отец Лаврентий отслужил в церкви дворца всенощную, при которой присутствовал один князь...

А затем они вдвоем ушли в спальню князя и долго, целый вечер побеседовали... Начав «с самодельной» философии, как называл князь, окончили историей церкви.

И в том и в другом оба были доки. В философствовании священник уступал князю, говоря: «Служителю алтаря и не подобает в сии помыслы уходить!..»

Но в истории церкви он знал не менее князя. История схизмы^[25] была любимым коньком фельдмаршала, как если бы он был игуменом^[26] или архиереем.^[27]

Человек, «власть имеющий», – он мечтал когда-нибудь, хотя вот после разгрома Порты Оттоманской, заняться специально... Чем?.. Ни более и ни менее как воссоединением церквей.

Беседа князя с священником хорошо подействовала на него. Он оживился, унылость бежала с лица.

Вселенские соборы... привели к спору о пресловутом «filioque»^[28] символа веры западной церкви. Князь незаметно отступил от принятого направления в беседе...

– Нет, князь... Это опять философия у вас пошла... Домой пора... Десятый час. Мне до Коломны – не ближний свет.

– Мои кони скоро домчат тебя, отец Лаврентий. Посиди. Ах да, я забыл, что ты ездить... грехом считаешь...

– Не грехом... А баловством, князь. За что зря скотинку гонять. На то ноги даны человеку, чтобы он пешком ходил.

Друзья простились, и князь напомнил духовнику про его обещанье прийти опять чрез несколько дней, захватив сочинение о Никейском соборе...^[29]

VI

На четвертый день, утром, выспавшись за ночь на постели, князь перешел опять в уборную, не умываясь и не одеваясь, и также в халате и туфлях на босу ногу... Ему было легче...

– Что ж. Света не переделаешь. Людей другими существами не заменишь. Глупости и зла не одолеешь. Глупость – сила великая, и с ней даже сатана не справится. С злыми он совладал и от начала века командует ими, а с дураками давно дал себе свою дьяволову клятву – не связываться.

И смеется князь, стоя у окна и оглядывая свежую зелень густого сада.

В полдень явился молоденький чиновник в дверях с кипой бумаг в руках и стал у дверей. Лицо знакомое князю, но мало... Где-то видал.

– Что тебе? – добродушно вымолвил он.

– К вашей светлости, – робко, заикаясь, отозвался чиновник.

– Ты кто таков?

– При канцелярии вашей светлости состою.

– Как звать?

– Петушков.

– Что же тебе от меня?

– А вот... Вот... Простите... Вот...

И, оробев совсем, чиновник запнулся и замолчал. Взялся он за пагубное дело по природной дерзости, да не сообразил своих сил. Там-то, в канцелярии, казалось не страшно, а тут сразу душа в пятки ушла.

– Ну... Что? Бумаги? Для подписи?

– То... чно... та-ак-с! – заикается Петушков и, как назло, вспомнил вдруг рассказ, что одного такого коллежского регистратора,^[30] как он вот, князь на Дунае расстрелять велел за несвоевременное появление в палатке с бумагами.

– Тебя кто послал? Правитель канцелярии приказал идти ко мне?

– Никак нет-с. Простите. Виноват. Сам вызвался. Бумаги самонужнейшие, а третий день без движенья лежат.

– Важность! Для бумаги. Бывают люди добрые и вельможи – по годам без движенья лежат. И без ног, и без языка. Это много хуже! – рассмеялся князь. – Ну, давай чернильницу и перо... Да что уж... Так и быть. Пойдем к столу.

И князь перешел в кабинет, где не был уже несколько дней.

– Вишь, приток, молокосос, – ворчит князь, ухмыляясь. – Дерзость какая... Лезет сам, ради похвальбы... Что ему дела! А похвастать! Либо на чай заработать от тех, кому эти дела любопытны да близки к сердцу.

Петушков положил дела на письменный стол и отошел к дубовым дверям, ведущим в залу. Потемкин сел, обмакнул перо и быстро, узорчатым почерком начал подписывать одну за другой четко и красиво написанные бумаги... Подписывая, он все-таки искоса проглядывал каждую. Были и приказы, и разрешения спешные и важные... Было дело об отпуске сумм на устройство порта в его любимом городе, новорожденном Николаеве,^[31] было дело об отдаче соляного откупа в Крыму графу Матюшкину,^[32] об уплате трехсот тысяч подрядчику и поставщику Дунайской армии... Дело об освобождении из-под ареста офицера, сидящего уже два месяца по его просьбе, за невежливость относительно князя при проезде его по Невскому.

– Ну, вот... Бери... Иди да похвалися. В смешливый час попал. А в другой раз не пробуй. Попадешь в лихой час, и от тебя только мокренько останется.

Молоденький чиновник, вне себя от восторга, собрал бумаги и выкатился из кабинета чуть не кубарем. И похвалиться есть чем во всем городе, да и на чай обещано было с трех сторон тому смельчаку, что решился пойти к князю с бумагами попробовать доложить.

По уходе чиновника князь рассмеялся и почувствовал себя совсем хорошо. Он посидел немного, потянулся, а там перешел к турецкому столику, придвинул его к себе и начал распечатывать и читать письма и донесения, давно ожидавшие его здесь.

В нижнем этаже дворца, где помещалась канцелярия светлейшего и где было, помимо чиновников, много и посторонних и важных лиц в гостях у директора, гудел неудержимый раскатистый хохот.

До кабинета князя было далеко и высоко, и поэтому здесь человек пятьдесят юных и старых хохотали во все горло до упаду. И всякий вновь пришедший или прибежавший на хохот подходил к делам, принесенным чиновником от князя, и тоже начинал хохотать.

На всех бумагах стояла одна и та же подпись рукою князя:

«Петушков. Петушков. Петушков».

Между тем была во дворце и новость... От князя отошло! Дворец зашевелился, ожил и загудел.

Князь пробрался, позавтракал плотно и, надев кафтан, сидел в кабинете. Кое-кого он уже принял и весело беседовал. Через часа два уже узнали, что «у князя прошло», что он оделся и принимает.

Во дворце была и другая новость, еще с утра. Вернулся из чужих краев посланный князем гонцом в город Карлсруэ^[33] офицер Брусков. Он исполнил поручение светлейшего и, велел о себе доложить, ждал внизу.

В сумерки князь нозвал офицера.

– Ну, что скажешь? Ты ведь, сказывают, из Германии?

– Точно так-с, ваша светлость. По вашему приказанию ездил и привез с собой...

– Что?

– А маркиза.

– Что такое? – удивился Потемкин.

– Вы изволили меня командировать тому назад месяца с полтора в Карлсруэ – за скрипачом маркизом Морельеном...

– Так! Верно! Забыл! Верно!.. Ну, что ж, привез его?

– Точно так-с! – тихо и с легкой запинкой выговорил офицер. – Привез. Он здесь, внизу, в отведенной горнице.

– Молодец! Где ж ты его нашел? В Карлсруэ?

– Да-с. В самом городе.

– Хорошо играет? Или врут газеты...

– По мне, очень хорошо. Лучше наших скрипачей во сто крат, – отозвался Брусков. – Так возит смычком, что даже в глазах рябит.

– Это что... А не рябит ли и в ушах, – рассмеялся князь. – Тогда плохо дело. А?

– Нет-с.

– То-то. Ну, спасибо. Награжу. Мне его захотелось послушать... В газетах много о нем похвал... Печатают, что божественно играет. Слезы исторгает у самых твердых. Ну, вот, через денек-два послушаем и увидим. Спасибо. Ступай.

Офицер хотел идти.

– Стой. Ведь он эмигрант. Бежал из Парижа? Был богач и придворный, а ныне в чужом краю пропитание снискивает музыкой. Так ведь, помнится.

– Точно так-с.

– И все это правдой оказалось? Ты узнал?

– Все истинно. Маркиз мне сам все сие рассказывал. Всего лишился от бунтовщиков.

– Ну, ладно. Приставить к нему двух лакеев и скорохода. Да обед со стола. Ступай.

VII

Еще в апреле мееяце князь Таврический, после великолепного торжества, данного в честь царицы, которое изумило всю столицу, вдруг снова захворал своей неизъяснимой болезнью – хандрой. Тогда, пробегаая переводы из немецких газет, которые ему постоянно делались в его канцелярии, он напал на восхваление одного виртуоза скрипача. Газеты превозносили до небес новоявленного гения. Эмигрант Alfred Moreillen, Marquis de la Tour d'Overst был, по словам газет, невиданное и неслыханное дотоле чудо. Его скрипка – живая душа, говорящая душам людским о чем-то... дивном и сверхъестественном. Это не музыка, а откровение божественное.

Князь тоскующий, то плачущий, то молящийся, то проклинающий весь мир... задумался над этим известием.

«Вот бы этакого достать и держать при себе, заставляя играть в такие минуты томительного, неизъяснимого отчаяния».

Гениальный виртуоз Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д'Овер, по словам тех же газет, бежал из Франции от разгрома, где погибло все его достояние, даже родной брат был казнен, и разоренный аристократ, чтобы заработать кусок хлеба, ездил по Германии из города в город и давал концерты.

«Послать за ним? Что ж ему лучше: шататься по Немедии и гроши собирать или жить у меня на всем на готовом. Обращение обещаю ему по его роду и имени. Царица – покровительница ученых и художников. Коли полюбит, пенсию ему положит. Напишу письмо и отряжу кого посмышленнее».

И князь написал письмо, короткое, но сильное, где звал маркиза Морельена в Россию и обещал от царицы и от себя горы золотые.

Малый подходящий, т. е. юркий и смысленый, был у князя налицо – его адъютант Брусков. В полчаса времени Брусков все понял, сообразил и поклялся светлейшему, что разыщет виртуоза маркиза и привезет в Россию самое позднее через два месяца.

Получил Брусков две тысячи червонцев на путевые и всякие издержки да еще тысячу для задатка эмигранту-французу... Но этого мало. Князь узнал, что Брусков пленен барышней Саблуковой, приезжей из провинции с отцом, и мечтает жениться, но тщетно, ибо отец, крутой и гордый, не соглашается выдать дочь за простого офицера без состояния и положения.

– Привези мне маркиза, а я у тебя сватом буду и посаженным вызовусь быть на свадьбе. Посмотрим, как тогда не согласятся. Не привезешь скрипача – не смей и на глаза мне ворочаться.

Счастливый Брусков, ног под собой не чуя от счастья, с легким сердцем и тяжелым карманом, туго набитым золотом, простился тайком с предметом своей страсти у общих знакомых и наказал девице-красавице не плакать, а радоваться и ждать его для свадьбы – и выехал.

Теперь ловкий Брусков возвратился и привез с собой кавалера Морельена, маркиза де ла Тур д'Овера. Следовательно, скоро можно посылать светлейшего сватом к Саблуковым.

Брусков, побывав у князя, нацеловавшись вдоволь со старухой матерью, рассказал ей подробно, как он разыскивал в чужих краях эмигранта маркиза.

Много городов объездил он, всюду разузнавая про место нахождения удивительного музыканта.

– И не боялся ты... Побожися... Не боялся? – спрашивала мать.

– Чего же, матушка, ведь немцы такие же люди, как и мы. Ведь они и здесь есть – я чай, не мало вы их видали.

– Так, соколик мой, верно. Люди они то ж. Да ведь здесь они промеж нас... А там-то они у себя... пойми... а ты промеж них.

– Так что же. Все едино.

– Ой нет. Вон иного зверя показывают в клетках иль вот Мишку какого на цепи медвежатник водит. Не страшно ничуть. А попади-ко ты ему в лапы у него в лесу, в его берлоге, что тогда. Так и немцы. Ведь они там у себя, а ты ужходишь чужой человек у них. Ну... Ну! Рассказывай...

Брусков смеялся и весело передал матери в мельчайших подробностях, как он разыскал наконец маркиза, уговорил ехать с ним в Россию и повез.

Разгорячился юный офицер и, окончив повествование, вскочил вдруг.

– Мне бы, матушка, только бы прислать скорее князя сватом да жениться на моей Оле, а там пропадай моя головушка...

– Зачем? Что ты! За что?

Брусков спохватился... смутился и, молча поцеловав старуху мать, вышел и поехал к Саблуковым.

Здесь ожидала его, к довершению счастья, дивная новость! Отец красавицы, упрямый и гордый, возившийся в столице с судом и подьячими, чтобы спасти от ябедника свое состояние, ни за что не хотел ехать и просить у князя Таврического помощи и заступничества!

– Я исконный дворянин русский, да поеду порог обивать, кланяться временщикам. Нет, дудки! За меня – закон.

Увидя наконец, что он разорен и на улице – исконный дворянин смирился в своей дворянской гордости и пошел к князю... но порог обивать ему не пришлось.

После смущения и робости в приемной светлейшего, он получил слово Потемкина, что все будет сделано по справедливости и по закону.

Стало быть, теперь барышня Саблукова будет даже богатой невестой!

Приезжий неожиданно в Россию, прямо во дворец князя Таврического, кавалер Морельен и маркиз де ла Тур д'Овер сидел внизу, в горницах, отводимых для гостей у князя родственников и благоприятелей из провинции. Маркиз был окружен по указу князя и всеми удобствами и почетом. Даже особая четверка цугом и карета была в его распоряжении. Маркиз уже три раза выезжал и видел всю столицу, был у обедни и в гостях у своего католического пастора. Сидя у себя в сумерки и вечером, он постоянно играл на скрипке, и все кругом – чиновники и люди, даже арапы и калмычки – заслушивались игры маркиза. Калмычат, прикурнувших в коридоре близ дверей его горницы, отогнать было нельзя.

Маркиз был человек лет двадцати пяти, высокий, красивый, с южным типом лица, чернобровый, с карими глазами и задумчивым взглядом. Было, однако, иногда в глазах его что-то странное... Глаза бегали, косились беспокойно... Но определить эту особенность лица трудно было бы. Точно он будто по пословице обеспокоен: «Знает кошка, что мясо съела!» Может быть, там у себя в отечестве совершил какое преступление да и дал тягу... А стал говорить, что эмигрант и от революции бежал; газеты и поверили и на весь мир оповестили. Может быть! Но вряд ли...

Кой-кто из чиновников князя, понимавших по-французски, уже познакомился с маркизом и бывал у него и днем и вечером. Он охотно играл и с улыбкой самодовольства принимал похвалы себе и своему дарованию. Вдобавок оказалось, что он отлично говорит по-немецки, а так как язык этот был очень распространен в Петербурге, то и в канцелярии князя многие знали его... Нашлись живо у маркиза и собеседники... Он был веселый и болтун и рассказывал им многоречиво про свой дворец в Париже, про двор короля Лудовика и балы и торжества, про революцию, про свое разорение, бегство.

– Нас теперь много в Германии! Во всех городах есть эмигранты, и все бедствуют. Уроки дают, лавочки заводят и торгуют чем попало, больше нюхательным табаком. Мой кузен виконт де ла Бар живет особым талантом. Силуэты делает. Как? Да вырезает из черной бумаги портреты – и одно лицо и во весь рост, миниатюры делает. И я умею.

VIII

Князь всякий день собирался призвать маркиза – расспросить, заставить сыграть, но за недосугом все откладывал. За время его хворания накопилось столько дела, спешного письма и вообще занятий государственной важности, что он почти не выходил из кабинета, переходя от письменного стола на диван, где принимал обыкновенно всех имевших до него дело, нужду, просьбу... А таких было много. Брусков всякий день нетерпеливо ждал свидания маркиза с князем. Нетерпение его росло с часу на час. Он волновался и видимо истомился. На расспросы матери о причине его волнения он объяснил, что смущен мыслью, как маркиз Морельен понравится светлейшему.

– А тебе-то что же? – удивилась Брускова. – Ты привез по указу. А ты не ответчик за него, коли он не так, как следует, завозит смычком, завозит по скрипице.

– Ох, матушка. Играет он бесподобно. Я его уже казал здешним музыкантам. Они все от него ума решились. Райской птицей прозвали его скрипку.

– Ну и слава Богу!

– А вот то-то... Слава ли Богу-то... Еще неведомо...

Однажды вечером Брусков, по просьбе матери, привез к себе на квартиру маркиза со скрипкой. Все семья Саблуковых, отец, мать и возлюбленная офицера, Оля, были приглашены на вечеринку с музыкой. А помимо их до десятка сослуживцев с женами и дочерьми...

Маркиз был очень весел и говорлив с теми, кто понимал хоть малость два ему известных языка, но больше и охотнее он болтал с теми, кто говорил по-немецки. С дамами он был очень любезен, хотя несколько и неприличен. Одну молодую даму он, шутя конечно, взял за ушко. Она сконфузилась. Муж было обиделся, но Саблуков, и в особенности Брусков, убедили всех, что с иностранца нельзя требовать того же, что с своего брата русского.

– У них во Франции, – заметил хладнокровно Саблуков, – может быть, это почитается за сердечное изъяснение своих чувств.

– Вестимо! – горячился Брусков. – Я вам отвечаю, что он обидного чего в мыслях не имел.

Маркиз, напившись кофе, наевшись плотно яблоками, орехами и вареньями, сыграл несколько пьес, больше все наизусть и как бы просто из головы своего сочинения. Гости заслушались и млели весь вечер. Даже любимая собака хозяйки, Жучок, смирно сидела в углу, наострив уши на гостя.

– Не музыка, а колдовство, – решила Брускова, – с нечистым снюхался просто.

– Не играет, а поет. Заливается соловьем. Впрямь диво! – восклицал один гость.

– Ах, ракалия!^[34] Ах, ракалия! – восторгался тихо другой гость.

– Эта посылочка почище моего рагат-лукума, – говорил драгунский капитан, уже съездивший в Москву и доставивший князю пуд малоазиатской сласти.

Вечеринка вышла на славу. Один Брусков только тогда успокоивался, когда маркиз был со скрипкой в руках, но как только он освобождался и вступал в беседу с кем-либо, – Брусков настораживал уши и глаза.

Почему он это делал – мать его замечала, но не понимала. Французский дворянин был, по ее мнению, пречудесный, презанятный кавалер.

В конце вечера случился, однако, странный казус, и неприличный, и смешной.

Все сидели за ужином, весело болтали, смеялись... маркиз не отставал от других. Его угощали на отвал, подливали всяких вин, а замечая, что он на вино крепок, выпил больше всех, а «ни в одном глазу», – стали потчевать еще пуще. И кавалер Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д'Овер не устоял и напился. Все бы это ничего. Хозяин и гости сами же виноваты были – спаивали. Но подгулявший маркиз вдруг начал хвастаться своими познаниями... Оказалось,

что он маракует даже по-латыни, по-гишпански и по-турецки и знает немножко и по-русски.

– По-нашему?! – воскликнули гости. – По-русски?

– Да, – отвечал подпивший маркиз, – по-вашему, – и начал сыпать отдельными словами, польскими и русскими. Брусков сидел угрюмый и беспокойно глядел на своего гостя.

Однако у маркиза хмель прошел живо – крепок он, видно, был на питье – и он объяснил публике, что его родитель покойный, озабочиваясь его воспитанием, приставил к нему с детства десятка с три учителей разных наций. От них-то он и научился понемножку всем языкам.

Гости только изумлялись, какое воспитание дается в чужих краях.

Когда пришлось вставать из-за стола и все поднялись, шумя стульями, и весело подходили благодарить хозяйку, маркиз не двинулся со стула и озабоченно шарил под столом... Затем он взял свечу, нагнулся и ахнул...

– Lieber²² Брусков, – завопил он отчаянно по-немецки. – Помогите... Неожданное приключение. Господа, кто это из вас пошутил!

И он прибавил по-русски, обращаясь ко всем гостям:

– Государь, коханный. Отдавай. Не карош это. Отдавай!

Оказалось, что маркиз сидит в одном сапоге; другого не было ни на ноге, ни под столом.

Все мужчины, изумляясь и со смехом, начали искать сапог, но его не было нигде.

– Да он его сам снял? – спросила Брускова, прося перевести вопрос гостю, но маркиз понял и отвечал по-русски:

– Сам. Сам. Права сапога моя...

– Ну так его Жучок истрепал! – решила хозяйка. Жучок, легавый щенок, любимец Брусковой, был известен даже в околотке, как истребитель кошек и обуви. Кошек он ненавидел, гонял, ловил и загрызал, а сапоги, башмаки и туфли обожал до страсти и всякий день приносил домой изгрызанные голенища, подошвы и каблуки, остатки его охоты по соседям.

Догадка хозяйки тотчас и подтвердилась: в углу гостиной нашли Жучка, усердно и мастерски разрывающего сапог маркиза на мельчайшие куски...

Смех, разумеется, гудел в доме... Маркизу уже принесли другой сапог хозяина, который оказался узок, но виртуоз, морщась и охая, все-таки напялил его, ворча и посылая к черту глупую собаку.

Некоторые гости, однако, качали головами и перешептывались. Дворянин Саблуков находил, что снимать сапог под столом за ужином в гостях совсем неприлично.

– Невежество это, как хотите! – говорил он Брускову вполголоса.

И офицер смушался.

– Может, у них там это про обычай! – заметил капитан, гонец за рагат-лукумом, хохотавший больше всех от приключения.

– Не может сего быть! Это вольность с нами. Что же он нас не за дворян почитает. У себя бы в отечестве он этого сделать не отважился.

И умный Саблуков решил, что маркиз Морельен зазнался в России, благо помещен во дворце князя Таврического, и смотрит теперь на русских людей, как на дрянь, не стоящую вежливого обращения.

– Да зачем, спроси ты, он снял сапог? – приставала хозяйка к сыну, стараясь обвинить гостя, а не любимца Жучка. – Колдовал он, я боюсь, у меня под столом.

– Какое тут, черт, колдовство, матушка, – сердился Брусков. – Скотина он невоспитанная. Вот и все!..

Спрашивали маркиза, зачем он снял сапог. Он жался и объяснял на разные лады.

²² Дорогой (нем.).

Гости разъехались, обещаясь Брускову не оглашать казуса, а себе обещаясь наутро разнести по городу повествование об изгрызенном сапоге маркиза.

– Зачем вы сняли сапог? – сказал Брусков, провожая гостя. – Если вы это сделаете где-нибудь, вас пускать к себе не будут.

– Отчего? – изумился маркиз. – Никто бы и не заметил ничего, если бы не скверная собака.

– Да зачем вы сняли? – загорячился Брусков.

– У меня мозоли. А сапоги новые. Странные вы люди, mein Gott!²³ – вдруг обиделся маркиз.

²³ Мой Бог! (нем.).

IX

Наконец князь однажды утром потребовал к себе маркиза Морельена. Музыкант смутился, съезился и, бросившись одеваться в свой самый лучший кафтан и камзол, торопился, рвал пуговицы и парик надел набок.

Маркиз, эмигрант и придворный короля Людовика XVI, был настолько сильно взволнован, что достал из шкатулки флакон с каким-то спиртуозным и крепким снадобьем и стал нюхать, чтобы освежить голову и привести свои мысли в порядок.

Дело в том, что маркиз Морельен, уже освоившийся со всем и со всеми во дворце, начал уже давно смущаться при мысли предстать пред могущественным Потемкиным.

Разные важные сановники, приезжавшие к князю и которых он видел из окон своих комнат, выходящих на подъезд, как бы говорили ему:

– Мы важные люди, а он еще важнее и выше нас. И если эти так надменны и строги, горды и неприступны, то каков же он... к которому они приезжают скромными просителями. Что же он?.. Гигант! Колосс! Земной бог!

И душа маркиза ушла в пятки. Он оделся совсем; поправил на себе парик, переменял сапоги на чулки и башмаки для большого парада... и не шел... Боялся присылки второго гонца от князя, его недоумения и гнева... и все-таки не шел.

Он ждал прибытия Брускова, за которым погнался своего скорохода.

Брусков влетел наконец верхом во двор и почти прибежал в горницы маркиза.

– Позвал? Зовет?.. Ну?.. Когда?.. – закидал он вопросами привезенного им аристократа-виртуоза.

Волнение Брускова было не менее смущения маркиза.

– Ну что ж, Бог милостив? – воскликнул он. – Помните только одно. Поменьше храбрости. Потихе. Посмирнее...

Маркиз грустно развел руками, как бы говоря, что смирнее того, как он себя теперь ощущает, – быть никак нельзя. Брусков, внимательно оглядев его, подумал то же.

– Да... Ошибло его... Присмирел. Где тут храбрость! Ноги трясутся. Отлично!

И офицер вздохнул свободнее.

– Слава Богу! – подумал он. – В этом виде мой маркиз ничего. Боюсь только, как обласкает его через меру князь, – ну и зазнается и испортит все... Ну, Господи сохрани и помилуй! Пойдемте.

Бодро, но молча прошли весь дворец и маркиз, и офицер, но двери кабинета переступили оба ни живы ни мертвы...

– Помяни Господи царя Давида^[35] и всю кротость его... – шептал Брусков и перекрестился набожно.

Вся его судьба, вся жизнь, женитьба, счастье, будущность, розовые мечты и сокровеннейшие надежды – все это зависит от этого свидания, все сейчас может прахом рассыпаться.

Князь сидел за письменным столом и работал; он встал навстречу, улыбаясь, протянул музыканту руку и что-то заговорил на французском языке. Брусков все видел и слышал, но ничего не понимал и не чувствовал, у него в голове будто привесили соборный большой колокол и трезвонят во всю мочь.

Маркиз жался как-то, ежился, странно, не понимая, откуда только у него вдруг дишкант взялся со страху, и в ответ на любезности князя отвечал только:

– Oui, Altesse! Non, Altesse... Votre serviteur... Altesse...²⁴

²⁴ Да, высочество! Нет, высочество... Ваш слуга... высочество... (фр.).

Altesse нравилось князю, и он, любезно усадив маркиза, продолжал свои занятия и стал рассеянно расспрашивать его о последних событиях во Франции, о положении эмигрантов в чужих краях. Но разговор шел худо, так как князь все более и более углублялся в письма и бумаги, которые переглядывал.

– Переведи! – услышал вдруг Брусков приказание князя и точно проснулся вдруг и стал понимать окружающее. И он, отлично, до тонкостей зная французский язык, начал сначала робко, а там все бойчее помогать князю в беседе, в некоторых выражениях.

– Какой конфузливый твой француз, – заметил наконец князь. – Да еще пришепетывает...

– Он, ваша светлость, действительно... Да и вас оробел.

– Понимаю, братец. Да ведь он в Версале да Трианоне видал немало всякой всячины.

– Он таков от природы робкий. Сам мне признавался! Да, кроме того, он говорил, что с важными людьми, вельможами он приобвык, «свой брат» они ему. А с умными людьми робеет, боясь за глупца прослыть. Об вашей светлости он наслышался еще в Германии.

– Что ты плетешь! – добродушно рассмеялся князь. – Что ж вельможи-то французского двора все дураки, что ли?! А он, по-моему... должно быть, не у себя... На чужой стороне.

И князь встал, любезно, даже ласково-фамильярно отпустил маркиза и сказал, что вечером попросит его показать свой талант при двух-трех лицах из его приближенных.

– Пронесло! Слава тебе, Создателю! – восклицал Брусков чуть не на бегу и едва поспевая за весело летевшим по дворцу маркизом.

Живо вернулись они в горницы.

– Ganz einfach! – повторял сразу раскуражившийся маркиз, потирая руки в удовольствии. – А по-латыни Simplicitas! Sancta simplicitas! А по-турецки: Буюк терчхане! А по-французски: Courage, mon garçon!²⁵

– Да, все слава Богу! Но помните, – уговаривал его Брусков, – держите себя как вот сейчас. А если вы расхрабритесь – тогда пропало. Вы все потеряете. А про меня и говорить нечего! Я тогда несчастный на всю жизнь!

Вечеру князь не прислал за музыкантом.

Прошло еще два дня, а маркиз и Брусков напрасно ждали. Князь был занят и озабочен и все переписывался, гоня скороходов и верховых, с английским резидентом, который сказывался больным. Он не ехал к князю и на предложение Потемкина посетить его отвечал, что не может решиться принять такого вельможу в постели.

– Ах, шельма эдакая! – досадливо восклицал князь. – Нечего делать. Я тебя пробомбардирую письмами и цидулями. Все равно не отвертишься у меня!

На третий день князь велел звать маркиза со скрипкой. Брусков снарядил приятеля и чуть не перекрестил, отпуская теперь одного в кабинет князя.

– Бога ради... Бога ради... – молил он маркиза. – Помните... Смирнее...

Маркиз клятвенно обещал быть тише воды, ниже травы, обещал не говорить, а только отвечать на вопросы, не смеяться, ничего не спрашивать.

Сдав маркиза двум камер-лакеям, Брусков остался внизу и сидел как на углях; раз с двадцать его то в пот ударяло, то мороз по коже пробирал.

Наконец маркиз явился сияющий и глянул на Брускова, – как большой водолаз может глянуть на новорожденного котенка.

«Что это, мол, за мразь такая тут».

Маркиз был важен, горд и взволнован.

Князь остался в восторге от его игры... Князь его обнял и расцеловал. Князь даже слезу раз утер... Ну, чего еще!..

²⁵ Совсем просто (нем.). Простота! Святая простота! (лат.) Смелей, мой мальчик! (фр.).

Маркиз поднял скрипку над головой и воскликнул:

– Я этим мир к ногам моим приведу. Я всегда это знал и чувствовал. Но мне нужен был случай. А что в моей труппе могло мне дать этот случай? Но вот теперь звезда моя поднимается, поднялась, сверкает и не затмится вовеки. Умру я – и все-таки здесь, в России, а может быть и во всей Европе, имя мое останется и будет греметь в потомстве; будет отец сыну и сын внуку передавать.

– Да будет вам болтать! Скажите... Графиня Браницкая как с вами обошлась? Самойлов как обращался?

– Их никого не было.

– Князь был один?!

– Один.

Брусков подпрыгнул от радости, а потом тотчас и пригорюнился.

– Да. Но ведь в другой раз может позвать и при гостях. Не говорил он вам, когда он вас наградит и отпустит обратно?

– Нет. Он меня оставляет при себе, – гордо отозвался маркиз. – С собой возьмет и в лагерь в Молдавию.

Брусков замолчал и задумался.

– Ах, только бы мне успеть жениться, – прошептал он наконец, – а там мне все равно. Ведь не снимет же голову.

Х

Вскоре после этого, однажды вечером, вокруг Таврического дворца горели смоляные бочки и площадки, а улица была запружена народом. На фасаде дворца сияла огромная звезда из шкаликов.^[36] Яркое освещенный двор переполнился громыхавшими экипажами, и ежеминутно прибывали и выходили на подъезд гости – мужчины и дамы.

Расставленные цепью по дороге, по всему полю от дворца и до рогатки города, скороходы перекликались весело... Наконец у рогатки громко крикнул чей-то голос два слова. И эти два слова будто побежали по полю, перебрасываясь от одного к другому, и быстро достигли дворца, народа толпившегося, швейцарской, наконец, приемных, и гостиных, и кабинета самого хозяина.

– Государыня выехала.

У князя был маленький званый вечер, на котором должна была присутствовать запросто сама монархиня, ради того, чтобы видеть необыкновенного новоявленного виртуоза скрипача, добытого князем из чужих краев. И много в Петрограде в этот день вельмож и сановников было обижено, или огорчено, или взбешено. Всякий считал своим правом ожидать приглашения в Таврический дворец, а этих претендентов оказывалось так много, что маленький вечер превратился бы в огромное, многочисленное собрание. А этого не мог допустить князь, ибо не желала государыня. Были приглашены только самые близкие люди, «благоприятель» и, конечно, родня князя, но и родня родни. И все-таки двор оказался переполнен экипажами, и большая гостиная едва вмещала разряженных гостей, чинов двора, генералов, дам и девиц. Явившихся было все-таки до сотни лиц. И все они сияли и одеждой, а еще более лицами, чувствуя себя «избранниками» из столичного общества.

Любимица князя, графиня Браницкая, принимала гостей в качестве хозяйки своего холостого дяди. В числе дам была, конечно, и красавица Альма Тален...

Только одну царицу принял сам светлейший, сойдя на подъезд к ней навстречу, когда карета ее была еще в улице и длинный цуг белых коней заворачивал в ворота, озаренный огнями площадок и сверкающий своей белизной и золотой сбруей.

Скоро все гости сидели молча в рядах стульев, среди малой залы, освещенной наполовину ради придания интимного характера вечеринке в Таврическом дворце. Государыня в переднем ряду была почти не видна гостям за узорчатой спинкой огромного готического кресла, купленного князем в Вартбурге. Князя уверил продающий ему это кресло, что на нем сидел главный судья, когда-то судивший Лютера.^[37]

Около государыни, рядом на стуле, сидел хозяин, а несколько отступя назад поместился постоянный спутник царицы, ее новый флигель-адъютант, Платон Зубов. На его нежное, женственное лицо, тонкий, красивый профиль и сверкающий бриллиантовый аксельбант – и было теперь наиболее обращено внимание гостей, в особенности девиц. «Почем знать», – думалось каждой.

Впереди, пред креслом царицы, в приличном отдалении, стоял стул, столик с инструментом и пюпитр с нотами.

Публика ждала уже с пять минут... Государыня тихо разговаривала с подошедшим к ней, ее же секретарем, – хозяин начал уже оборачиваться и поглядывать на дверь, из которой ждали виновника собрания.

Наконец в зале появился маркиз и нетвердыми шагами приблизился к пюпитру. Князь хотел встать, подойти к виртуозу и заметить ему, что он должен был явиться заранее и быть на месте прежде государыни и гостей, но, взглянув на своего маркиза, Потемкин чуть не ахнул.

Маркиз был бледен как полотно, глаза его горели лихорадочным блеском, губы побелели, и какая-то гримаса, будто судорога, передергивала черты лица. А вместе с тем, благодаря этой

мертвенной бледности и, может быть, еще и тому обстоятельству, что на нем был простой и изящный костюм, темно-фиолетовый кафтан, матово-желтый камзол, оттенявший его лицо, казавшееся еще блее, маркиз был очень в авантаже^[38] и казался еще красивее. Публика одобритительно встретила его появление. Все заметили:

– Какой красавец!

Государыня заметила бледность и смущение виртуоза-эмигранта и сказала что-то хозяйину.

– Обойдется! – отвечал князь, улыбаясь. – А не обойдется – вы обласкаете. И от одного вашего чудодейственного слова все к нему вернется: и чувство, и разум, и гений.

Маркиз, взявший скрипку и смычок, прилаживался, но руки его заметно дрожали. Он наконец двинул смычком и начал играть... и сыграл, и кончил...

Молчание было ответом.

Ничего! Так себе! обыкновенный скрипач. Эдаких в Питере десятков своих доморощенных! – думали и говорили теперь гости. Государыня покачала головой и вымолвила Зубову:

– Надо его ободрить. Il a perdu son latin.²⁶ Пойдите. Поговорите с ним. Обласкайте.

Зубов встал и, подойдя к маркизу, заговорил с ним по-французски. Виртуоз постепенно несколько ободрился, отвечал и стал смотреть храбрее. Он глянул в первый раз на государыню, присутствие которой до сих пор чувствовал только, но еще не видал, боясь поднять на нее глаза... Она ласково улыбалась, милостиво глядела на него.

Она совсем не то, что он воображал.

«Она добрая!» – думает маркиз.

И маркиз ободрился совсем и уже бойко отвечал Зубову и тоже подошедшему к нему хозяину.

Флигель-адъютант, исполнив приказание, вернулся на свое место.

– Видите, как оправился, – сказала государыня. – Теперь услышим иное...

Князь еще говорил с виртуозом и добродушно смеялся. Зубов, пользуясь минутой, наклонился к государыне и шепнул, насмешливо улыбаясь:

– Ce n'est pas un francais.²⁷

– Как? Это эмигрант. Un marquis francais. Morreillen de la Tour de...²⁸ Дальше не помню.

– Emigrant peut-etre... Marquis – plus ou moins... Francais – jamais!²⁹ – проговорил Зубов. – Кажется, совсем не парижский выговор.

– От робости...

В эту минуту Потемкин вернулся на место и сказал:

– Я его совсем разогрел... Теперь сыграет!

²⁶ Он выглядит потеряннм (фр.).

²⁷ Он – не француз (фр.).

²⁸ Французский маркиз. Морельен де ля Тур... (фр.).

²⁹ Эмигрант – возможно... Маркиз – более или менее... Француз – никогда! (фр.).

XI

Виртуоз взмахнул смычком и взял несколько аккордов. Затем он медленно обвел глазами все общество. Быстро, искоса глянул на государыню, пристально поглядел на князя, улыбнулся вдруг как-то странно, почти грустно, и, припав головой к скрипке, повел смычком.

Он начал маленькую вещь... Сонату... Простую свою...

Его мать любила ее слушать. Ей всегда играл он ее, когда ему было еще двадцать лет... Когда и она, и он бедствовали, почти голодали, а в холодном доме всегда бывало тихо, уныло... Рассвета не виднелось в жизни... Она так и скончалась однажды под звуки этой ее любимой сонаты и отошла в тот мир тихо, покорно, безро потно... «Как ему-то здесь будет без меня?» – шепнула она.

Смычок сам двигался по струнам, привычные пальцы шевелились сами... Артист был всем существом в иных пределах, а не в зале Таврического дворца.

Он провожал тело матери, в грошовом деревянном гробу, на даровое помещение городского кладбища, где хоронят самоубийц и безвестных мертвецов, найденных на дорогах, проходивцев и бродяг... Два крестьянина стащили гроб в яму, опустили – зарывают... Зарыли. Ушли. Он стоит один... Он пойдет теперь назад домой – один... И будет весь день, весь год, всю жизнь – один и один... Весь мир кругом него глядит и молчит бестрепетно и безучастно. Ни света, ни тепла, ни радости, ни улыбки для него нет... здесь все зарыто... И навеки! Все кончено...

В зале наступила тишина и длилась несколько мгновений. Звуки музыки замерли, а гости еще явственно слышали их на себе или внутренне вызывали их опять, ожидали вновь.

Наконец молчание перешло в шепот, а шепот в оживленный говор.

– Я не ожидала этого... – проговорила государыня тихо, и в голосе ее было чувство – была слеза.

Она что-то пережила вновь из прошлого, полузабытого и пронесшегося сейчас перед ней в этой зале бледным призраком. Но от этого грустного призрака повеяло тоже чем-то иным – дальним, ясным, светлым, молодым...

«А-а! Что? Присмирели! – думает артист, оглядывая публику. – Вы съехались и сели слушать потому, что обещал играть вам равный аристократ, маркиз... А если б явился в Петербург бедный шляхтич, голодный и босоногий, и заиграл так же... Вы бы его и со двора гнать велели. „Что может быть хорошего из Назарета...“»

А из Назарета вещий голос и раздался, и все ему поклонилось...

И виртуоз снова поднял смычок и будто злобно рванул по струнам. Мысль его руководила смычком.

«Маркиз?! Аристократ?! Нет! Выше маркизов! Простой нищий-артист! Творец. Да. Творец, созидаящий из ничего – из сочетания дерева и бычачьих жил – целый мир. Вызывающий из глупой деревяшки и веревочек целое море бурь, чувств, страстей, волшебный поток, захватывающий сердце людское и увлекающий его в те таинственные пределы, куда разум никогда не проникнет... И в этот миг я помыслом, сердцем, душой в моих небесах, а лишь пята моя на земле, и ею топчу я вас во прахе земном...»

Бурной страстью, всепожирающим огнем и неукротимой дикой силой дышало от новой блестящей импровизации виртуоза. Слушатели будто почуяли все то, что вдруг забушевало в душе артиста и порывом вылилось в звуках. Это был вопль злобы и отчаянья, проклятие могучего и горячего сердца, разбитого жизнью и людьми... Виртуоз кончил и недвижно стоял и молчал, не подымая глаз на гостей... Что они ему? Он забыл об них! Он еще не вернулся с своих небес к ним на землю...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.